

Мир за неделю —
2006. — 29 янв. — 5 февр. —
с. 8

Жванецкий на нобелевской сцене

До него из наших соотечественников здесь выступал только Солженицын

Алексей СМРНОВ
Новые Известия.
Подписной индекс 42898

Лучшая и самая престижная площадка не только Скандинавии, но в некотором смысле и всего мира — Стокгольмский концертный зал, в котором проходит ежегодное вручение Нобелевских премий, был полон: русская эмиграция скупила всю тысячу мест, причем начинали с самых дорогих, «близких», билетов. «И вы покупаете места в партере, чтобы лучше рассмотреть этого маленького лысого артиста? Да кто он такой, если вы на него идете, как эмигранты из Ирана ломились на своего аятоллу?» — недоумевали шведки-кассириши.

«Мне в Лондоне говорили, что на моем концерте можно узнать, сколько здесь живет русских. В Стокгольме, кажется, тоже», — приветствовал зал Михаил Михайлович.

Это было правдой: наших в Стокгольме немного, все всех знают, но в зале неожиданно появились люди, прежде на русскую речь не откликавшиеся и встреча с соотечественниками оценивавшие, как приглашение в ГУЛАГ. Наживку Жванецкого заглотили даже они.

После концерта Жванецкий, артистическая которого превратилась в коммунальную одесскую кухню, где вокруг патриарха шумно интригуют, борясь за его внимание, родственники, соседи, взрослые, дети и даже невеста откуда взвзвизываясь кот, согласился ответить на вопросы корреспондента «Новых Известий».

— Вы второй наш соотечественник после Солженицына, получавшего здесь Нобелевскую премию, который выступал на этой сцене. Со мной в зале рядом сидел швед-славист, он говорит: «Солженицын вышел на сцену

без бабочки, прикрыл вырез манишки бородой, и Жванецкий был без галстука. Наверно, это инстинктивный протест русского творца против ограничений». Если бы вам дали Нобелевскую премию и надо было произнести речь, чему бы вы ее посвятили? Свободе, «устранению галстуков», как Солженицын?

— Пусть сначала дадут Нобелевскую премию, и я обещаю, что, ладно, надену эту бабочку. Не буду таким расхристанным. А что бы я говорил... Наверное, о своей профессии. Об оскудении юмора, о снижении уровня юмора во всех странах. О публике, к которой мы стремимся. Она должна оставаться выше определенного уровня юмора, а она спускается, вслед за этим и юмор опускается...

— Если говорить о публике, чем отличается эмигрантская аудитория от российской? Здесь зал улавливал все ваши репризы, самые тонкие. Это везде так или, как вы выразились, на родине «часто приходится к шутке пальцами добавлять, чтобы поняли»? Как изменился состав вашего зала за годы ваших выступлений на эстраде?

— Моя лучшая публика уехала за границу. Эмигрантская аудитория очень напоминает ту, что была в почтовых ящиках, научных учреждениях. Она оттуда происходит. Младшие научные сотрудники, старшие, кандидаты наук. Они за рубежом, к сожалению. Это то величайшее, тончайшее взаимопонимание, которого мне не хватает. Большинство этих людей работали «на войну», те, кто остался в России, работу потеряли, поэтому они не могут прийти на концерт. Там я эту публику потерял, за границей ее нахожу, как в Стокгольме. Зал не меняется. Зал прекрасный. Просто публика перемещается, и не приходится ехать вслед за публикой. Она переместилась, и переместился. Меня удивляет, почему наша пуб-

лика, которая с удовольствием живет в эмиграции и тратит все силы, меняет специальности, чтобы жить здесь, не хочет это же самое сделать там. За что я, собственно, и борюсь. Встаньте в пять утра, поменяйте профессию — там, в России, — и считайте, что попали в эмиграцию. Давайте там уже начнем что-то делать.

— Раз уж мы беседуем с вами в Стокгольме, что вы можете сказать о Швеции?

— Швеция для меня — море симпатий. Это техническая нация, авторы прекрасных изобретений. Шведский ключ, змейка-молния... Качество всего того, что у меня дома, все электроприборы — шведские: стиральная машина, холодильник, электросушилка. Очень близкие мне люди ездят на «Вольво», когда я приезжаю в Америку, всегда развезжаю там на «Вольво». Конечно, Бергман, Грета Гарбо. Я написал целое произведение, я дам его вам в «Новые Известия» — о Швеции и о том, как мы в ней выглядим. Они тут одеты скромно, в одежде мы лучше. И машин тут на улицах не столько, сколько у нас. Но мы почему-то хотим жить среди шведов, нам что-то нравится в этом обществе — и люди уезжают, меняют жизнь, профессию... Поест уже можно и в Москве, заработать можно и в Москве. Если люди сейчас приезжают в Швецию, то чтобы жить среди шведов. Почему мы не хотим жить среди своих? Нам надо меняться. Хотя бы осознать, что надо меняться. Чтобы у нас тоже плавали утки, чтобы процент попаданий в унитаз был такой же, как в Швеции, и процент попадания в урну плевок — тот же. В Швеции нет блеска, роскоши, поэтому легко сравнивать. Также север. Здесь спокойно, люди доброжелательные. Я таких людей и в России видел, они живут в монастырях, они там собраны. Вот там и я мог бы жить, если бы не был евреем и не был бы юмористом.



Фото Дмитрия ХРУПОВА. «Новые Известия»

— В Стокгольме у вас был грандиозный успех, думаю, так везде, где остались ваши зрители. Почему вас почти не видно на телеэкране, и это при том, что появилась масса юмористических передач? Даже Одессу нам теперь показывают не вашу, а «китайской сборки», наскоро сработанную бригадой одесских «Джентльменов».

— Я появляюсь только тогда, когда меня приглашают. Я люблю вашу газету, потому что я люблю Игоря Голембиовского, я люблю тех людей, которых он там собрал. Я появляюсь там, куда меня зовут, и если меня нет — значит, не позвали. Я вижу, как молодые ребята с маячком проблесковым рвутся, локтями пробиваются, сами предлагают себя. Ну необязательно молодые, просто такая порода людей, которая сама себя продает. Вот Петросян. Всегда пользовался успехом, как ни странно, люди всегда были довольны его концертами. Это наводит меня на размышления — как бы и мне не заслужить эти аплодисменты. Я очень осторожен. Я всегда говорю публике: «Вы пригласите меня, а потом Петросяна,

а потом опять меня. И вы сумеете как-то сравнить». Я ничего против него не имею, я не говорю о нем лично. Я говорю о жанре. Почему не появляюсь? Так складывается на телевидении. Какая-то оплата там, наверное, существует. Но вот позвали меня как-то на НТВ, все сняли. Вышли кассеты «Весь Жванецкий». Есть и «остальной», которого сейчас слышали.

— Как вы оцениваете ситуацию в вашем жанре, в сатире сегодня?

— Ну вы сами видите. «Итого» — это как сатира. Нет, это даже не как сатира. Это современный во все стороны легкий лай, даже не лай, а подвывание. Легкий, несчастный, ироничный разговор. Легкий-легкий, легкий-легкий. Недовольные всем ребята комментируют все. «Однако» — тоже такая передача. Мрачные, недовольные, с желтыми глазами ребята. Чем хуже выглядит, тем лучше. Он этот имидж, эту гнусоту пытается сохранить. Комментирует, всем недовольный. Я никак не могу понять. Если ты на кого-то нападаешь, ты должен кого-то защищать. Не может быть, чтобы ты лаял во все стороны. Ты что-то сторожишь. Если ты пес, ты что-то сторожишь. Цепь куда-то ведет. Но ты лаешь, просто лаешь. Но все-таки ты должен за что-то отвечать, ты должен чему-то желать добра, о ком-то заботиться. Сатира не может быть «во все стороны». Это тогда не сатира, а бред козла. Это просто горячий кусок угля, который невозможно взять в руки, теряется смысл жанра. Жанр сатиры, если ты сатирик, предусматривает, что нападаешь на сильного, нападаешь на мерзкого — и защищаешь слабого. Тогда понятно.

— У вас был популярный монолог про танк. Герой добывается справедливости, развезжая на танке. Тогда это был взгляд в будущее. Сейчас все «езды на тан-

ке». Монолог стал символом жизни, развился в говорухинский фильм «Ворошиловский стрелок». «Браток» воспарил над Россией. Как вам кажется, есть в вашем сегодняшнем творчестве что-то, что показывает нашу жизнь лет через 5—10?

— Я когда написал про танк, не думал, что все так обернется. Что касается будущего... Лить помой вверх я бы уже не стал. Во-первых, физически, как вы понимаете, это трудно. Во-вторых, я бы просто уже поговорил с населением, чтобы люди меньше обращали внимания на «верх». Наверное, лет через пять мы больше будем заниматься сами собой. Вот посмотрите налево, направо, на Скандинавию, на шведов, на финнов, которые на камне и песке так много производят и так много едят. Наша первая задача — поест. Национальная идея — пообедать. Начнем кушать, потом оденемся. Но прежде всего — поест. Обеспечить себя едой. Себя — едой! Ничего тут немислимого нет. Вот если я такое напишу, это будет через пять лет живо. После того как обеспечим себя едой, все остальное приложится.

— Стало быть, надежда есть?

— Конечно. Но сейчас свобода слова, и ваш брат-журналист совершенно распоясался, раздухарился в угоду рейтинга. Они только под труп могут продать эти свои рекламы, стиральные порошки и жевательные резинки. Они выкапывают труп, окружают его пепси-колой, «Аризлем» — и, глядя на труп, население разевает рот и под это все покупает. Вот поэтому так много горя, бесконечное горе льется с экрана. Если говорить о моих друзьях, о тех, кого я знал, кто работает неподалеку, они все стали жить лучше, они просто свободны. Я бы это слово повторял все время. У кого-то что-то не получилось? Свободны, свободны, свободны. У этого получилось?

Свободны, свободны, свободны. Этот ест — свободен, этот гонит — свободен. Дальше — это наше, народное дело. Кто ест, кто не ест, кому помочь — но мы свободны. Поэтому жить стало лучше. НАМНО-ГО! И не могу понять это нытье. Раньше повторяли: хорошо-хорошо-хорошо, сейчас: плохо-плохо-плохо.

И тогда было вранье, и сейчас вранье. Так и живешь под репродукторное бесконечное вранье. Ну как же плохо?! Миллионы машин, в магазинах все есть. Пожаруиста, только поменяй профессию, и ты сможешь заработать. Но ты не валий дурака. Не иди завлаблом. Нет больше лаборатории. Иди сторожи машины. Так вот мой товарищ отказывается сторожить машины. Ему это стыдно. Я его понимаю. Но там сто долларов в месяц платят, а так — двадцать. Он отказывается. Ну отказался, так и живи. Но ты свободен.

— Какое время в вашей жизни было самым тяжелым, уже когда вы стали знаменитым?

— Вся советская власть была самым тяжелым временем в моей жизни. И когда я славу постиг, и до того. Это все было сплошное унижение для меня, тюрьма, унижение, хотя и писал тогда хорошо, потому что был молод и противник был ясен. Иногда можно было быть не художником, а просто смелым человеком, даже не смелым, а обиженным, отчего ты и становился смелым. В состоянии обиды мы можем и защищать ребенка, и сами пойдем на нож. Жуткое было время. Что бы мы ни говорили, невирая на нашу сплоченность, и нашу дружбу, и наши песни у костра. И ни в каком случае я не хочу назад. Судьба наша была, как у насекомых, которые грызли гранит, боролись с границей, бессмысленно, жалко. Не хочу никому возврата пожелать и себе тоже. Даже если мои произведения будут классическими и будут хорошо читаться.